Со стороны реки в проём выставленного по просьбе Андрея Захаровича оконца чулана веяло свежим, с запахом полыни ветерком. Ночную тишь разрывало резкое верещание сверчков. Со времён, когда ему приходилось прятаться по ночам в бурьяне за домом от озверевших кулаков, взбешённых процессом коллективизации, Андрей терпеть не мог их трескотню. Почему именно его, беспартийного и не служившего во время Гражданской войны в Красной (впрочем, и никакой другой) армии, избрали председателем вновь образовавшегося колхоза «Первое мая», для него было загадкой. Тем не менее, два с лишним года тянул председательскую лямку, живя на острие ножа. Скрытое сопротивление зажиточных мужиков, только почуявших вкус к хозяйствованию, ощущалось непрерывно. До тех пор, пока их не сгребли вместе с семьями и не отправили в Сибирь.

До войны, после благополучного ухода с поста председателя, он работал в колхозе счетоводом и управляющим водяной мельницей. Её прежний хозяин, Григорий Ивашов, мужик дальновидный, вошёл вместе со своим добром в колхоз, поэтому избежал раскулачивания. А после и вовсе уехал от греха подальше в Магнитогорск, на строительство социалистической индустрии. А ведь был ярый противник Советской власти. Андрей батрачил у него на мельнице. В девятнадцатом чуть не попал под горячую руку.

— А что, Охрим, кинем этого краснопузого в жернова — и концы в воду, — зло заржал тогда Ивашов, показывая брату на Андрея. Потом мотнул головой в сторону бурлящего потока, падающего на водяное колесо. — Или в омут бросим, замолотит лопастями, тоже хорошо.

— Ты что, Грицко, белены объелся, какой он краснюк, всё время на глазах, — заступился за парня Васько Шмаль.

— А он ему Христю простить не может. Огулял девку, а потом погнал от себя, а Андрей не почурался, взял в жёны. Вот Гриня и кусает локти, девка-то добрая, красивая и до хозяйства охочая, — поддержал Васька Иван Кривсун, приходящийся Андрею двоюродным братом.

— Сам просрал, а теперь злобу вымещаешь. А, Гриша? — продолжил Василий.

— Одна шайка-лейка, всех бы вас в жернова, — остервенело буркнул Ивашов, отходя в сторону.

Андрей, как мог, двинул по жёсткому топчану занемевшее тело. В гражданскую не воевал, зато в последнюю хлебнул досыта. С лета сорок первого до весны сорок пятого. Всю войну Бог миловал, а под конец, в Кёнигсберге, от души саданули. На подступах обошлось, а в самой крепости не уберёгся. Всё к тому шло. Накануне в отбитом доме сидел за стеной в наблюдении.

— Свободен, смена пришла, — услышал весёлый голос Павла Конопли, хохла из Киева, — иди в подвал, отдыхай, там спокойно.

С Коноплёй в роте уже полтора года, сблизились.

Уступил насиженное место другу и, пригнувшись перед оконным проёмом, двинулся к лестничному спуску. Сзади послышался шелест от падающего кирпича, а следом вскрик.

Андрей обернулся. Павло сидел на том же месте, только без половины головы. Срезало сорвавшейся сверху вьюшкой от камина. Подбежавший Андрей, глядя на пульсирующий во вскрытой черепной коробке мозг, остолбенел и долго не мог пошевелиться.

Вторым знаком была пуля, выпущенная снайпером и опалившая волосы выше виска. Вовремя головой качнул — прошла мимо.

— Не откинь голову — и никаких мучений сейчас, — прошептал про себя.

Потом устыдился своей мысли. «Бог ещё четверть века подарил. Детей с Ганной народили и подняли. А Паша в Кёнигсберге остался, хоть и был гораздо моложе, — припомнил Андрей друга. — Я с собой на войну троих сыновей прихватил, что с Христей нажили. И все возвернулись. Христя хранила его и детей. Сама не побереглась, перед войной девятым ребёнком умерла, вот с неба и помогала, чем могла. А иначе как объяснить, что из такого пекла живыми вышли».

Вспомнил последний бой в этом чёртовом Кёнигсберге. Очередь пулемётная из окна секанула, когда улицу перебегал. Упал в кирпичную красную пыль, по инерции перевернулся в ней и в закатном солнце слился воедино багровым цветом. Повезло только в том, что это под вечер случилось. Быстро стемнело, в дом втащили. Потом госпиталь. Недвижимый был, пуля позвоночник задела. В тот раз поднялся, а вот сейчас, через четверть века, догнала и на топчан уложила, дрянь фашистская.

Задремавшего Андрея Захаровича разбудили голоса с улицы. В чулан, куда Андрей для покоя велел себя положить, когда паралич расшиб, зашёл один из сыновей с внуком. Андрей Захарович не особо приветствовал посещения, не хотел, чтобы внуки видели его немощным. Как раньше не любил себя с поседевшей головой. Стариться не хотел. Но Володьке обрадовался. Любил его. За то, что он с неподдельным интересом донимал вопросами и жадно впитывал в себя рассказанное.

— Дед, вот в Отечественную ты воевал, а почему в Гражданскую нет, ведь двадцать лет тебе уже было, — вопрошал внук.

— А мне и одной войны за глаза хватило, — смеялся Андрей Захарович.

Не будет же рассказывать, как остерёг его вернувшийся с фронта в восемнадцатом году брат Дмитрий.

— Не встревай в эту кутерьму, братишка, ни к чему тебе. Мне деваться некуда, я старый вояка, а ты поберегись, — потрепал Андрея по кудрям.

Ночью пришёл, через день, опять в ночь, ушёл на станцию с двумя зашедшими за ним друзьями, такими же фронтовиками.

И сгинул в водовороте чехословацкого мятежа: ни слуху, ни духу. Недавно, когда крышу перекрывали, нашли в камышовой стрехе две трёхлинейки и австрийский драгунский мелкокалиберный карабин. Проржавевшие, с истлевшими прикладами. Господь миловал, что в двадцатые-тридцатые годы власти не нашли, к стенке бы поставили. Зять, муж послевоенной дочки, карабин в керосине отмочил. Даже пострелял из него в талах у речки.

После ухода родных опять задремал. Приснилась Христя, молодая и боевая. Что-то кричала на колхозном собрании, обрывая

строптивых бабёнок. «Защитница, грудью на зарвавшихся колхозничков надвигалась, в обиду не давала», — тихо улыбаясь, вспоминал очнувшийся Андрей.

Давно нет мельницы, на которой их жизнь зачиналась. Друзья и близкие уходят. Слух дошёл, что Григорий Ивашов умер. Старшой как-то в поезде встретил его. Подвыпив, ввалился с братьями в купе.

— Люди кажуть, ты мой батька, — надвинулся на Гриню (в семье из этого тайны не делали). — Дать бы тебе по рылу, шоб мало не показалось, да ладно, копти свет белый, гнида!

И ушли догуливать, а Ивашов собрал манатки и, кабы чего не вышло, перебрался в другой вагон.

Опять всплыл в памяти Кёнигсберг. Всю жизнь не отпускает, наваливается на плечи своей, красного кирпича, крепостной тяжестью. И опять Андрей стремительно несётся под пулемётным огнём по его красным от кирпичной пыли улицам, падает, встаёт и снова бежит, не останавливаясь.

«А ведь мельница тоже была сложена из красного кирпича, — удивился пришедшей вдруг мысли. — Ничто в жизни не случайно, счастье и беда в одной упряжи ходят».

Мельница и бастионы Кёнигсберга слились и опрокинулись на Андрея багровой теменью, утверждаясь в меркнувшем сознании самыми значительными событиями жизни.